

*Не обман — страсть, и не вымысел!
И не лжёт — только не дли!
О, когда бы в сей мир явились мы
Простолюдинами любви!*

Марина Цветаева

Билеты были в СВ. Не потому, что газета позаботилась и раскошелилась, а потому что, наоборот, — не позаботилась. Их спешно перед отъездом покупал муж на Грибоедова (теперь — Малый Харитоньевский). Вручил мне, сказав: «Поедешь хотя бы, как человек».

Я уезжала в Питер. В мой любимый Ленинград. Конечно, ночным экспрессом. В купе — никого. До отправления — семь минут. Я сняла плащ и присела к окну. Было ясно, что в вагоне пустовато, да и на перроне не звучат слова, которые взхлёб говорят на прощанье и которых не слышат и с собой не увозят так, как те, которыми молчат на прощанье и которые слышат и увозят... Каникулы кончились, до праздников далеко, билеты дорогие и всё равно — не купить.

С кем поеду? Одна?

Дверь открылась: спряталась вглубь стены как-то неожиданно легко, без звука усилия, будто ветром, который не распахнул, а втянул, забрал, прибрал преграду. Вошла женщина, я узнала её мгновенно, за ней — мужчина, который нёс дорожную сумку, и за ними, где-то высоко, будто на высокой, неясно различимой галёрке, показался юноша.

Догадаться было нетрудно — они провожают, а спутницей моей будет она — актриса, которую давно обожаю, знаю все её работы в кино, многое видела из того, что сделано ею в театре... Написала новое для меня слово «обожаю» вместо привычного «люблю».

Почему? Потому что уже призналась в любви к городу? На одну страницу два признания — много? Или потому, что любить известную актрису просто неоригинально? Нет, я давно про себя знаю, что в выборе любимого вовсе не оригинальна, да и не задумываюсь над этим — задумываюсь совсем не над этим... Я бы хотела рассказать о ней так, чтобы было понятно, что люблю, что больно и сладко — как сладко и больно! — мне говорить о ней.

Марина Д. Лучшая (не только на мой взгляд) изптиц стихов Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Александра Блока. Какие разные поэты и как по-разному, словно разными существами, в ней живущими, она их читает! Но об этом написано много и ещё напишут — критики и искусствоведы.

А я, я тысячу лет мечтала об интервью с ней. Сколько раз после спектакля, фильма, любого её явления мысленно говорила с ней, писала письма (те самые — не отправленные, суть — ненаписанные на бумаге), задавала вопросы, хотя, может быть, и не по правилам моей профессии — журналистики.

И вот — целая ночь впереди. Разве я устала? А она?

— Добрый вечер, — тихо сказала-обронила Марина, глядя мимо меня.

Посторонилась. Муж (это, конечно, был он) почему-то убрал — вознёс сумку, а не спрятав её в рундук под постелью, спросив:

— Маша, тебе здесь ничего не нужно?

— Нет, пожалуй.

Он поцеловал её спокойно и неторопливо, хотя вошли они буквально за минуту до отправления. Она подставила щёку, изогнув шею, потянувшись к поцелую, будто дотягиваясь до него. Глаза — под веками. Юноша быстро чмокнул:

— Пока, ма.

Взгляд — из-под век — и руки ласково коснулись, погладили сына.

Муж — вежливо нам обеим:

— Лёгкой ночи.

Едва выходят — отплываем. Миг начала движения всегда ускользает — не удержать, как последний удар курантов в новогоднюю ночь. Не хватает времени насладиться и осознать — случилось!

Марина присела, не снимая плаща, только освободила узел шарфа. В окне — вскинутые руки, и побежали фонари — всё быстрее и быстрее, с каким-то нарастающим отчаянием осознания разлуки. С кем разлучаюсь я? Ведь меня сегодня никто не провожает. Да и командировка только на три дня. Может, просто — с этим вечером, точнее — с ночью, вокзалом, Москвой, здешним дождём, уезжая на встречу с вечным ленинградским?

Я не могла отвести от неё глаз. Но, думается, не мешала. Она, наверное, даже не ощущала (не то чтобы не замечала, а просто не ощущала) моего взгляда. Привыкла с детства жить во взглядах, под взглядами — это жизнь красивого ребёнка, красивой девочки, девушки, женщины, актрисы. Существа не просто красивого, а талантливого, даже в молчании значительного, притягивающего чем-то необъяснимым. Полеми? Может быть. Помню, как было с Высоцким: рядом — красавец: высокий бородатый Хмельницкий, и так легко от него отойти, а вступив в круг Высоцкого, никуда и никогда не вырваться.

Я молчала и глядела на неё. Она молчала и глядела в окно, в котором — я знала — послевокзальная тьма со вспышками огней.

Какая она? В отличие от многих актрис, красивая и в жизни, узнаваемая с первого взгляда, даже без грима. Просто другая и, пожалуй, моложе, потому что выглядела почти беззащитно. Усталая? Вроде не очень. Счастливая? Не читаемо, то есть неявно. Печальная? Нет... Нет-нет, просто грустная, по-особенному — видимой грустью, светящейся. Но какого цвета свечение, сказать нельзя, хотя в купе совсем не сумерки, а яркий белый свет, который разгорался по мере возрастания скорости.

Сама Марина тоже была как бы не цветной, хотя и совершенно не бесцветной — скорее, прозрачной — ощущение присутствия и отсутствия одновременно.

И ещё: и поза (прямая спина, сидит чуть напряжённо, на краешке), и наклон головы (чуть вперёд и набок), и подрагивающие пальцы, и то, что не сняла плаща... Во всём этом — вслушивание, будто ждёт, что кто-то окликнет, окликнет сейчас, и она немедленно поднимется — отзовется и шагнёт навстречу. Чему? Кому? Какая-то вечная, не засыпающая готовность. Ожидание зова. Больше, чем актёрская привычка ждать слов: «Ваш выход!» или «Д., на сцену!» Марина Цветаева сказала бы: «Вечная бессонница всего существа, даже во сне».

Времени прошло немного. Негромко постучав, заглянула проводница — молодая и, наверное, знавшая о том, кто едет в купе. Очень вежливо пожелала: «Спокойной ночи» и предложила: «Чай уже не разносим, но титан горячий — не хотите ли?»

Мы встретились глазами. Марина чуть с улыбкой и будто виновато сказала:

— Я так всегда любила пить чай в поезде... Вообще, люблю есть в поездах и самолётах. Но в самолётах кормить стали гораздо хуже, чем тогда, когда подавали икру, даже, кажется, на крутонах?

— Так давайте попьём чаю?

— Но я люблю только вкусный и ещё... из своей чашки.

—?

— У меня есть с собой в пакетиках и кружка своя, и даже пирожки — мама испекла.

— И у меня — мама... и кружка, и чай.

Мы засмеялись.

— А может, уже поздно, да и лень?

— Нет, нет! Давайте я схожу за кипятком?

— Тогда уж пойдём вместе — гуськом.

Достаточно неловко опускаем её сумку с багажной высоты, достаю свою из темноты ящика под постелью, шуршим пакетами, извлекаем кружки, пирожки и чай. Оказалось, что чай у нас, при большом сегодня выборе, одинаковый. Мы это весело обсуждаем, как и то, что ни она, ни я не пьём растворимый кофе. Перед дверью купе меня вдруг осеняет:

— В коридоре всегда кто-нибудь есть — вас узнают, как сразу же узнала я, придут объясняться в любви и спрашивать о творческих планах, а я хочу всё сама и не хочу делиться...

Марина вскидывает на меня впервые внимательно глядящие, будто пробуждённые глаза, улыбается:

— И о творческих планах — тоже?

— Может быть.

— Пожалуй.

Чай заварен, пирожки наших мам удивительно похожи, шоколадка и даже лимон — пир под музыку дороги в зеркале ночного окна — уют движущегося, как минимум в двух измерениях, маленького и только нашего мира купе! Я устала? Мечтала лежать и молчать? Забыто.

— Так значит, про меня вы всё знаете, а кто вы... по профессии? — вопрос, не поднимая глаз от ложечки в кружке, вопрос вежливый, вопрос скуки — щека на руке, её подпирающей, а в кружке — жёлтый круг лимона на беспокойной глади.

— Журналист.

Глаза обиженного, обманутого, почти испуганного ребёнка.

— Газета?

Называю.

Немного разочарования, но и успокоения одновременно — не самая скандальная, не самая современная, не самая эпатажная, совсем не гламурная.

Молчу.

Она... ждёт? Мы молчим обе, а я люблюсь. Она красива. Очень.

И вдруг — задорное, насмешливое, девчоночье:

— Хотите интервью?

Выдох мой:

— Очень!

— Эксклюзивное?

— Эксклюзивное.

— Нигде и никогда?

— Нигде и никогда, и никому — всё возьму только себе.

— Только после смерти. После смерти можно всё.

— Только после смерти... Чьей?

Мы смеёмся совсем просто и весело — тысяча лет вместе позади, а впереди — ещё тысяча.

— Но, чур, — никаких «творческих планов»!

— Никаких!

— О чём же будет интервью?

Ответить мгновенно не получается. Пауза. Она ждёт, будто совсем не задумываясь над темой, не придумывая её — выжидает, доверяясь мне...

И вдруг с улыбкой — цветаевское:

— «Вы перечтёте мои записи..., когда Вы перечтёте их, чтоб найти там живую меня, наша встреча предстанет перед Вами в новом свете».

Наша встреча... Успеваю не столько понять, сколько запомнить сказанное.

— Интервью? — О том, о чём я ничего не знаю...

У Марины что-то вспыхивает в зрачках, как тьма за окном, — интерес, ещё более напрягшееся ожидание? — и я думаю: «Боже! Девчонка, просто любопытная девчонка».

— ...О любви.

Она — эхом, одновременно и удовлетворенно (всего-то!), и разочарованно (всего-то...):

— О любви!

Слегка отодвигает кружку, чтобы положить руки на край стола, как примерная ученица на парту, показывая, что вся — внимание и готовность. Мой репортёрский плеер покоится не востребуемым в сумке. Я включаю магнитофон памяти, но, подыгрывая, словно разматываю шнур от микрофона, принимаю по-журналистски любезно-уверенный вид и вдруг замираю... Что же я спрошу? — Что такое любовь? И кто же это знает! А кто знает, разве возьмётся отвечать? И такое спрашивают или спрашивали только на школьных диспутах. Вы счастливы в любви? Будто можно быть в любви только счастливым или только несчастным (даже во взаимной или наоборот). Вас многие любили? Да как же её — такую! — можно не любить — пропустить — отпустить?! Вы много любили, сколько раз? И мы начнём загибать пальцы, боясь сбиться со счёта, или, может, примемся сортировать, классифицировать: это — влюблённость — не считается, а это, о, это — любовь — раз!..

— Вас бросали?

— Меня всегда бросают.

Я, кажется, застыла с открытым ртом, а не только глазами, вытянувшись навстречу спокойному ответу, который ей не понадобилось искать. Она сидела уже не в позе примерной ученицы, а где-то на облаке, за спиной — туча.

— Помните, Марина, у Марины... у Марины Цветаевой?

— Да, да, конечно.

Зачем спросила, я же знаю, что она наверняка, несомненно знает про Марину, мою Марину, всё. (Эх, прощай, «Юность»! Если бы это интервью было написано, то его опять бы в моём любимом с детства журнале не опубликовали — к Марине Цветаевой да на «ты», да по имени! Но по-другому-то — неправда! Знаю, что никто и ничто мне права такого обращения не даёт, даже любовь, но... так, вероятно, Она хочет). Пугаюсь — вдруг ничего не скажет больше? Но она, Марина, Марина Д. (сегодня у меня две Марины, и здесь, в этом купе, совершенно ясно, что нас трое, и так было с самого до-разговора) поднимает голову, смотрит спокойно, чуть насмешливо и чуть печально:

— Я — та вещь, а я совсем не оскорбляюсь и не унижаюсь этим словом, оно для меня ёмкое, как «вещь в себе», и хорошее. Ведь говорят «Это — вещь!» Вот я — та вещь, которую все (или многие) хотят... с первого взгляда, или со второго, который — первый...



Следует взгляд-вопрос — понимаю ли? Я понимаю, она это видит и продолжает:

— ...А потом не знают, что с ней, с этой вещью, то есть со мной, делать, зачем схватили и куда выбросить, словом, как избавиться, потому что жить-хранить обременительно до невозможности. Вещь бесполезна, тяжела, вообще не нужна — совсем и навсегда. Щедрые не жалеют затрат и оставляют тут же у прилавка, что называется «не отходя от кассы», как и пугливые или очень проворные... Скряги и слепые могут даже в дом принести, а потом мучаются, прозрев, — ни подарить, ни выбросить!

Тихонько — в подъезд, как котёнка, или... на свалку, как... как громоздкий граммофон, или... туда, где была, где должна быть... Дверь — на засов, телефон отключить, и чтобы не снилась! Но иногда случается вариант: «Дайте посмотреть!» И затем: «Спасибо, не надо». Этих больше всего... цену.

Молчу и слушаю. Она обращается не ко мне — мысли вслух. Я же скорее вижу, а не слышу произносимое — яркая, спит сердце, чередой образов в полной достоверности цвета, объёма и даже запаха. Не мешаю — она старается сказать точнее — большее себе — и перебирает варианты, чтобы ничего-ничего не упустить, не забыть, не исказить.

— А вещь-то говорит, плачет, просит, требует! И главное — совсем дурацкое — верит, что нужна, незаменима, красива, у-ди-ви-тель-на, словом, лучше всех, всех нужнее и желаннее... До берёзки и ещё за ней! И не выключить, и не выкрасить. А самое нестерпимое, что помнит всё то, на что и купилась... эта неправильная вещь.

Зачем схватил? Сам не знает — увидел — не думал, что, как, для чего — просто хочу и всё, а потом — не хочу и всё... Логика. Железная. Да, ещё. Вещь, я то есть, если её никуда не ведут, не манят, сама тащит за собой! Куда-нибудь. Но чаще — в гору. А это значит, что совсем не на прогулку, а туда, куда умный не пойдёт, пойдёт влюблённый. Дышать нечем, холодно... и никому не нужно. Есть и другие места, где не хуже. И с кислородом без напряжёнки. Вот вещь с горы-то... Вот меня с горы-то и... отпускали чаще всего, а иногда там оставляли — живи, мол, раз тебе здесь так нравится, не буду мешать... Всё во благо — мёрзнуть-промерзнуть, чтобы не старела до бессмертного безобразия. А бывало и так: оглянусь ещё по дороге — ведь впереди иду — никого-то и нет, только приветы последние да поцелуи воздушные...

Это звучит уже совсем высоким, почти весёлым, нет — насмешливым голосом, в котором нет слёз, только ветер, а слёзы давным-давно вымерзли. И завершая сказанное и услышанное, мы — вместе:

— Как у Марины.

Я:

— Вы помните?

Я всё равно — с такой горы упала,
Что никогда мне жизни не собрать!

Её глаза — само внимание, жадное и жгучее. Какое-то хмельное внимание с первого глотка-строчки.

— Нет. Откуда это? А дальше?

— Из цикла стихов, посвящённого Н.Н.В., 20-й год.

— Кто он?

— Художник, Николай Николаевич Вышеславцев. Она ему — стайку стихов, он — её портрет и рисунок обложки к сборнику «Вёрсты»... Мне иногда кажется, что не все стихи цикла обращены к Вышеславцеву, но это другая тема, хотя и про любовь.

— А к кому?

— Иногда — к будущему герою. Чаще — к не встреченному. Песнь разминований.

— Прочтите, что помните оттуда.

Я выговариваю такое цветаевское из апреля 20-го:

Целому морю — нужно всё небо,
Целому сердцу — нужен весь Бог.

Она тянется к каждому слову, точно хочет взять в руки, приблизить к глазам, надышаться, молча просит, ждёт — ещё...

В мешок и в воду — подвиг доблестный!
Любить немножко — грех большой.
Ты, ласковый с малейшим волосом,
Неласковый с моей душой.

Червонным куполом прельщаются
И вороны, и голубки...

Вижу, что стихи знает, но не прерывает. Я читаю актрисе, не слыша своего сердца — даже оно затаилось.

— Ещё...

Не просьба, не приказ — бред, а в бреду — жалоба: «Пить».

Времени у нас часок.
Дальше — вечность друг без друга!
А в песочнице — песок —
Утечёт!

Что меня к тебе влечёт —
Вовсе не твоя заслуга!
Просто страх, что роза щёк —
Отцветёт.

Ты на солнечных часах
Монастырских — вызнал время?
На небесных на весах —
Взвесил — час?

Для созвездий и для нас —
Тот же час — один — над всеми.
Не хочу, чтобы зачах —
Этот час!

Только маленький часок
Я у Вечности украла.
Только час — на...
Всю любовь.

Мой весь грех, моя — вся кара.
И обоих нас — укроет —
Песок.

Молча: «Дай!»
Молча: «Ваше!»

А вслух:

— Я почему-то это пропустила. В свой час не нашла... А ещё вспомните?

— «А впрочем, Вы ведь никогда не ходите мимо моего дому...», — строчки припоминаются сразу. Начинаю читать, кажется, подчиняясь ритму едва угадываемого стука колёс.

Мой путь не лежит мимо дому — твоего.
Мой путь не лежит мимо дому — ничего.

А всё же с пути сбиваюсь,
(Особо весной!)
А всё же по людям маюсь,
Как пёс под луной.

Желанная всюду гостья!
Всем спать не даю!
Я с дедом играю в кости,
А с внуком — пою.

Ко мне не ревнуют жёны:
Я — голос и взгляд.
И мне не один влюблённый
Не вывел палат.

Смешно от щедрот незваных
Мне ваших, купцы!
Сама воздвигаю за ночь —
Мосты и дворцы.

(А что говорю, не слушай!
Всё мелет — бабьё!)
Сама поутру разрушу
Творенье своё.

Хоромы — как сноп соломы — ничего!
Мой путь не лежит мимо дому — твоего.

- Это я знаю... Люблю... Но не читаю.
- Странно — я читаю Цветаеву вам, той, кто делает это лучше всех.
- Вы тоже хорошо читаете. Вас учили?
- Только она сама — дыханием... Может, чаю выпьем... с радости.
- Давайте... «Любить немножко — грех большой»... А помните?..
- А помните?..

И вместе:

Ты — каменный, а я пою,
Ты — памятник, а я летаю.

И дальше:

Твои глаза! — Все руки по иконам —
Твои! — О, если бы ты был без глаз, без рук,
Чтоб мне не помнить их, не помнить их,
не помнить!..

И пятилетний, прожевав пшено:

— «Без Вас нам скучно, а с тобой смешно»...

Так, оплётенная венком детей

Сквозь сон — слова: «Боюсь, под корень рубит —

Поляк... Ну что? — Ну как? — Нет новостей?»

— «Нет, — впрочем, есть: что он меня не любит!»

Мы переводим дух. Но, припав, как к горному ручью, — ни напиться, ни оторваться.

— Видимо, Маринины стихи иногда всё ещё хотят быть прочитанными в унисон, как когда-то, в начале... в начале века с Анастасией... Прочтите, пожалуйста, вы — я знаю: вы читаете — «Ты этого хотел...», это ведь из того же цикла.

Совсем незаметно меняется поза — сидит, как сидела, но уже не одна и не со мной, видит уже не меня и даже не зал — слова обращены к нему, и он их слышит через ночь, через сон, через век.

Ты этого хотел. — Так. — Аллилуйя.

Я руку, бьющую меня, целую.

В грудь оттолкнувшую — к груди тяну,

Чтоб, удивясь, прослушал — тишину.

И чтоб потом, с улыбкой равнодушной:

— Моё дитя становится послушным!

Голос актрисы негромкий, но перед ним отступают все звуки. Он становится единственным голосом этой ночи.

Марина дочитала и без паузы — восхищённо и возмущённо:

— У кого интервью? У какой Марины? У Цветаевой?.. А Вы чувствуете? — заговорщицким, таинственным полужёпотом, — Она здесь!

— Мы её в себе принесли. Можно было бы чаем угостить, но он давно замёрз... Но всё-таки — к вопросу. Вы досказали? Мы не ушли от Марины к Марине?

— Кто из нас журналист? Кто ведёт беседу?

— Марина.

— Пожалуй. Так вот, чтобы поставить точку и покончить с иносказательностью: как только я позволяла себе поверить словам — вверялась человеку, или делала попытку любить, или разлюбивалась — разгоралась вовсю, меня и бросали. Пуга-а-лись... И бежать... Только пятки сверкали и спины парусили (от слова «парус»). И никто меня не любит, — это уже говорит ребёнок, любимый несомненно, капризный соответственно, ждущий мгновенного опровержения.

— Никто-никто?

— Ну, разве те, кого не люблю я.

—...? — мой молчаливый вопрос-недоумение.

— Конечно, кроме моих близких, кого люблю я, и кто терпит меня... по должности — это сказано как-то тише, осторожнее и чуть торопливее — тема, которой все не касаются, а мы же решили, хотя и не сговариваясь, — о серьёзном весело или почти весело, чтобы не получилось смешно.

Судорожно думаю, что спросить ещё, спросить так, чтобы ничего не сломать, не нарушить, не спугнуть. Где мой профессионализм, хватка, чутьё, интуиция... где всё?

Марина сама приходит на помощь — почувствовала моё замешательство? Мой страх, что сейчас всё кончится и настанет только ночь? А может, ей просто не хотелось спать:

— Вы были в Праге?

— Были попытки, и есть давнее желание, и даже сын с друзьями почти из-за меня там побывал, а я — нет.

— А я была. Город — сон, или — из сна. Где явь — сон, а сон — явь. Всё завязано каким-то волшебным узлом, как любовь — развязать невозможно... Удивительно... Рельеф, возносящий город и одновременно окружающий его, река, молчащая, принимающая тайны, как отражения, мосты... разъединяющие, дома-декорации — они так хороши, что кажутся невозможными для буден... Слова и шаги, деревья и фонари... И даже время года своё собственное, не из известных... И там случилась моя «Поэма Горы», нет — «Конца», потому что «Гора» не сбылась, а «Конец» — сразу после начала.

— Расскажите?

Минуту думает. Смотрит, будто в воду — так готовятся к прыжку. Кивает головой решительно, отчаянно, даже с вызовом:

— Да! Эксклюзивная исповедь в эксклюзивном интервью! Постараюсь коротко.

Шли съёмки. Летом. В жару. Снимали в недалеком пригороде Праги. В основном — в павильоне. Купаться отпускали, водоём был недалеко, именно водоём — не бассейн, не озеро, а что-то, куда не то втекала, не то из чего-то вытекала маленькая с мохнатыми берегами речушка. Не очень хорошее дно, да и вода — не синяя, не зелёная — кофейная... Мне не нравилось. Все купались, а я лежала и в небо глядела...

Сценарий достойный. Современный... Но нежный — пастораль. Много действующих лиц — как бы из новелл единое целое, роль поэтому, хотя и одна из главных, но небольшая. Времени свободного оставалось много и для города, и для поспать-почитать. А отсняться и уехать нельзя — некоторая завязка с последующими кусками и возвратность по отснятому. Я радовалась паузам — хотела по Марининым местам пройти. Я тогда программу по её стихам готовила, томик с собой возила.

На душе было не очень спокойно. Впрочем, когда спокойно-то было? Каждый раз по-разному и из-за разного — вечно душа из-за чего-то болит, о чём-то тоскует. Может, просто ждёт чего-то, беспрестанно чего-то ждёт... даже во сне?

Рассказчица всё больше уходила от меня, от перестука колёс, от запаха купе — всегда нового и в чём-то постоянного, как запах дома детства, как бы редко ты в него не возвращался. От этой ночи. Глядела в своё, ей загоревшееся прошлое, говорила себе, а может быть, Марине — Марине Д. рассказывала Марине Цветаевой. Я была как бы приглашённой, допущенной, но не главной собеседницей.

— Сын влюбился в первый раз. Я совсем не ревновала. Сразу же полюбила девочку тоже. Девочка — чудо. Пастернака любит. Вслед за мной или даже чуть-чуть из-за меня — Марину... Но именно тогда впервые сказала себе: «Постой, малыш вырос, а значит, ты?.. — Со-ста-ри-ла-сь». Это было даже весело — ведь никто подобного не говорил, я не чувствовала, муж продолжал твердить «девчонка сопливая», и роли не старели... Вот такой я приехала в Прагу... В свободный от съёмок день отправилась к реке. Лежала на лугу с книжкой, которую листал ветер. От жары луг был не больно-то зелёным — рыжим и колючим. По мне ползла божья коровка, шекотала, а мне не хотелось, чтобы она улетела на небо и принесла хлеба. И всё-таки она улетела. Я выпрямилась, чтобы поглядеть ей вслед... И встретила взгляд: так смотрят только ещё очень молодые и очень влюблённые мужские глаза — полный восторг без всякого прикрытия — например, иронии или усталости...

Он был одним из авторов сценария. Безумно хорош. Не заметить — нельзя. Впору само снимать, и не в эпизоде. Я видела его ещё в Москве и знала с первого дня — случайно попались документы съёмочной группы, — что он почти вдвое моложе меня.

Марина пьёт холодный чай — сначала маленькими глотками и будто нехотя, а потом, словно распробовав, войдя во вкус или внезапно почувствовав жажду — уже не отрываясь. Выпивает холодную тёмную влагу до самого конца, кончиком языка проводит по губам, раздумывая, что делать с пустой кружкой-чашкой, ставит её на стол совсем далеко от себя и края — не нужна больше — и продолжает:

— Восторг, поклонение, обожание... Нескрываемые. И сразу же всеми замеченные. Он не отмахивался, не отшучивался. Глядел, казалось, всем существом. Словом, мне выпала любовь. И это «мне», а не «нам» не случайно сказано. Эта любовь выпала мне. Меня, выбрав, — может, с завязанными глазами — окликнула. И я на неё пошла, не раздумывая, с первого, ну со второго зова, сначала не позволив себе услышать всерьёз — ведь мой сын... они были, если не одногодки, то почти... Самое смешное, я не чувствовала себя старше. Впрочем, как и с сыном...

Мы везде бывали вместе. В начале я пыталась иронизировать на тему возраста, но он говорил: «Перестань. Я люблю тебя. Ты лучше всех. Мне никто не нужен. Ты заводишь меня в одно касание. Даже взглядом. Что ты комплексуешь? А ещё в Париже снималась! И потом — совсем незаметно». Я провоцировала: «Что незаметно?». Он: «Да то, что ты называешь разницей в возрасте. Это всего лишь разные весовые категории...»

Каждый день были розы. Розы и шампанское с мороженым. Я люблю шампанское. Я люблю мороженое. Но это сочетание теперь ненавижу... И в последний день — шампанское и мороженое. Мы оказались там же, где и в первый, где в первый раз он меня поцеловал в губы, вернее, нас качнуло друг к другу — губы коснулись губ в каком-то движении, на лету. Это был бар, место тусовки киношников. В тот первый раз бар мне показался уютным и чистым. А главное — пустым. Но тогда я, наверное, просто никого не видела — смотрела в его глаза, слушала рассказ о том, как он «влюбился с первого взгляда»... Что может быть слаще и... больше? А ещё — слушала себя, в себе... Помните у Цветаевой: «Не любовь вызывает во мне сердцебиение, а сердцебиение — любовь»? И удивлялась, и не удивлялась.

Марина задумалась. И немного помолчав, повторила:

— Бросали, отставали, оставляли, отказывались... Предавали...

Говорю не о любви-страсти, то есть не о любовной любви. В этом смысле как раз наоборот: меня мало (по количеству раз) «бросали», только потому, что я сама мало — редко влюблялась. Если скажу, что после замужества — один раз, вы ведь не поверите? Мне не часто нравятся мужчины — совсем не оттого, что нравятся женщины. То просто скучно — язык замерзает — разговаривать, то ещё проще: дурак, — о чём говорить? То сноб, то бабник, а то — чужой запах или плохо выбрит, или руки... Словом, чужие все. Все родные — дома...

Голос опять тише и глуше, сказано как бы вскользь, но о важном и о запретном.

— ...Он был моим. И всё было прекрасно. Искушение молодостью... бездны на краю?

Миллион роз. Я, столько их получавшая, замирала над каждым цветком...

Тогда, в первое свидание — просто охалка — розы в мой рост. Так и проходила целый день, обнимаясь с ними и с ним — он обнимал меня и розы — розы с шипами сквозь тонкую пелену бумаги были между нами.

Мы целовались и целовались на виду у города... в розовом облаке... Я никогда ничего скрывать не умела. А ему вроде и надобно не было. В группе, конечно, говорили, но как-то не очень громко и неявно насмешливо, может, даже с некоторой завистью или удивлением, а удивить нашего брата... «У вас у обоих такие светлые лица».

Меняет тон и — иронично:

— Слава Богу, что на улице никто не спросил: «Это ваш сын?» или «Что это ты мамашку так целуешь?»

Опускает глаза и отпускает насмешку. Нежная, грустная женщина смотрит в себя и видит в колодце памяти себя любимой и влюблённой. По лицу гуляют блики-сплохи. Отражение гаснет — вода успокаивается, засыпает.

— Меня вызвали в Москву на телевидение — договор был давний. Я уехала. В Москве засуетилась, показалось, что оторвалась. И вдруг... затосковала. Поняла, что хочу в Прагу. Поняла, что хочу к нему и больше ничего...

Если б только не холод крайний,
Замыкающий мне уста,
Я бы людям сказала тайну:
Середина любви — пуста.

...Вся наша поэма уложилась в полтора месяца, вместе с разлукой...

Он ждал, по его словам — «сексуально не разгрузался», писал письма... маме, с которой очень дружен, о том, что любит меня, а она отвечала гениально: «Женитесь. Попадёте в Книгу рекордов Гиннеса, получите много денег».

После моего возвращения в Прагу у нас было только два свидания.

Первое — сплошной долгий, мучительный, тоскливый — из-за пережитой, а может, из-за предстоящей разлуки — волшебный поцелуй.

Я соскучилась и по нему, и по городу, поэтому встретились там, где уже встречались, и как бы по пути к моим делам.

Второе — «...ты сохранила себя семнадцатилетней. Таким и я был в семнадцать. Теперь я другой. Я — не мальчик». Это звучало, хотя и не как вызов, но почти гордо или зло...

Меня занесло, как на крутом повороте, я это понимала. Узнавала себя, уже прошедшую похожий путь и сломавшую себе на нём всё, не только шею, но опять на него сбивалась, остановиться не столько не могла, сколько почему-то не хотела. Я дышала каким-то колким ледяным воздухом от ужаса творимого.

Мне нужно было всё небо над его головой, и во вчера, и в завтра, мне мало было сегодняшнего неба, да ещё отражённого в воде. Мы стояли на мосту, на Маринином Карловом. Река — под нами, река — мимо нас. А мы — два камня в сомнительном покое, на краю. Я мучила его и страдала сама от себя. От невозможного и по невозможному. Понимала всё, не понимая ничего.

Я и теперь знаю: он ни в чём не виноват...

«Брось меня сейчас, пока ничего не случилось».

Он точно спотыкается об эти мои слова и останавливается среди движущейся толпы. Меня же несёт дальше. Одна. Оглядываюсь. Возвращаюсь. Прижимаюсь, отстраняюсь.

«Перестань. Что мы делаем?»

«Что мы делаем? Ссоримся или расстаёмся?»

«Я люблю тебя. Пока ты есть, другая женщина для меня невысказана. Это невозможно. Люблю тебя сегодня больше, чем вчера, но меньше, чем завтра. Ты сделала меня зависимым от себя — не могу без тебя...»

«Дай мне сто лет и один день, и один час... сто лет до твоего рождения и до моего рождения... сто лет после моего ухода и после твоего ухода. Дай мне сто лет любви, чтобы я смогла любить тебя миг, один только миг — сегодня».

«А ты меня так любишь?»

«Почему ты об этом спрашиваешь? Раз твой ответ может, должен зависеть от моего? Любовь в нас, если она есть, принадлежит другому, и её грех не отдать, невозможно не отдать — она тянет сердце, жилы, крушит не только плечи, но и судьбу...»

«Я не могу обещать тебе себя на всю жизнь, это было бы обманом, любя, я не хочу тебя обманывать...»

«Давай прыгнем».

Меня не удивляла речь Марины. Вот уж точно: «Все расстающиеся говорят, как пьяные, и любят торжественность...».

— Вода под мостом была аспидно-чёрной. Отражения огней то покачивались на ней, то вдруг замирали...

Так просто: раз — и все проблемы, и придуманные, и реальные, всю нестерпимую тоску, всё щемление неприкаянного сердца — всё и навсегда в воду, на дно, туда, где ил...

Или, наоборот, — в небо...

...Ах, как легко, скажи лишь слово,
Взмахнуть и взвиться в облака!..

И там, где медленно и пышно
Закатный день расплавил медь,
Поцеловать тебя неслышно,
И если надо, умереть...

Это Дон Аминадо. Марина Цветаева его любила.

Я слушала, и меня не оставляло ощущение присутствия в рассказе Цветаевой. Мост, река, Брунsvик, охраняющий реку и её тайны, расстающиеся люди, обречённые на разминование и, будто листья на воде, — отражения фонарей...

Марина совсем ушла в свой сон. Её лицо было лицом страдающего ребёнка, не плачущего, а страдающего от какой-то жестокой обиды, предательства, непонимания взрослых, таких неверных слову. Я едва сдерживалась, чтобы не обхватить ладонями это лицо, не пробудить, не прервать сон с открытыми глазами, — но не смела. Да ещё и потому, что поняла: слышен вовсе не перестук колёс — дорога тиха и легка, а моё собственное сердце, вспоминающее и узнающее своё.

Она пробуждается:

— Я, конечно, его напугала. Но вы, вы ведь понимаете?.. — И утверждая, и надеясь, и вопрошая. — ...Вы понимаете, что в миг, когда женщина чувствует, что любит, да ещё так не на равных, когда ей необходима уверенность, что она любима, а когда любима, то ведь всегда навсегда, никакого «после» — «после» не может быть! — и никакого «до» — «до» ничего не было! Ведь она же — единственная, она избранная, она любимая, а любимая им не может быть из ряда или не должна знать, что за ней будет другая, другие — это же невыносимо! И Бог с ней, с реальностью. А главное, если он любит, то сам должен верить в это и обещать невозможное. А коли у него холодная, то есть, ясная голова даже тогда — разве это Любовь? И можно это вынести?!

Я говорю непонятно? Вы успеваете? В запале я всегда говорю быстро — сама себя догоняю.

«Ты хочешь невозможного». Конечно, он прав. Но такой трезвый взгляд — лишь доказательство исключительного психического сверхздоровья, а не любви или хотя

бы безумной влюблённости. Было невыносимо больно. Я ничего не понимала. Мост не имел опор. Всё потеряло реальность — и место, и время. Я видела — он хочет уйти, но не понимала, как это может быть. Сама хотела уйти, но не могла. Я узнавала ощущение отчаяния, которое уже было в другой жизни, до смерти. И делала то, что делала когда-то, чтобы умереть.

Ещё в самом начале я сказала ему по телефону — не видела его глаз, не чувствовала рук и потому проговорила чётко, несбивчиво то, во что верила, верю и сейчас: во всём виновата женщина — и пусть женщины меня простят — мы можем многое, кроме одного — переделать себя.

Я сказала ему, что и в своей судьбе, в её горестях, бедах виню только себя, а всё в ней счастлирое — дары. Мы все — дарители, дарами живущие.

И потому, что женщина, и потому, что старше, грех происходящего — только мой. Сознательный грех — смертный грех, но есть ещё смертельнее — убить любовь. Но про любовь я тогда не говорила, я о ней только слушала — не из-за боязни быть смешной, а от другого страха... Говорила примерно так:

«Ты желаешь победы? Она у тебя есть — я сдаюсь без всякой видимости неприступности или борьбы. Так сладко сдаться, так радостно быть побеждённой, слыть добычей! Бери! И никаких ухищрений — подкопов, подкупов. Это тебя огорчает? Но ты же — победитель, это видно издалека, ты неотразим, ты божественно хорош, как молодой бог с Олимпа. Он: «Не говори мне этого» — Хочу. Я не хочу тратить силы на напрасную борьбу, я не хочу борьбы. Но, чтобы не задавался, для равновесия, вот: я сама со стены крепости выбрала тебя, чтобы сдаться, а выбрав, не намерена притворяться, что недоступна...»

...Мы смеялись. Он признавался: «Не верю, что ты со мной». Рассказал, как однажды на экскурсии в какой-то крепости, когда предложили дотронуться до самого большого колокола и загадать желание, он дотронулся, загадав нашу близость. Я помнила этот колокол. И помнила своё желание: «Хочу, чтобы мальчик, идущий за мной следом по многовековой узкой лестнице, в меня влюбился». Говорил, что я «та-а-кая женщина», что со сверстницами ему скучно... и что, если бы я была не замужем, то мы бы жили вместе. Правда, это было сказано один раз. Я спросила: «Ты взял бы меня вместо мамы или домоправительницы?» — «Нет, мама у меня уже есть, тебя я бы взял в другом качестве».

Однажды я заявила, что меня выгонит из дому муж, и он вновь обронил: «Я возьму тебя себе». Я, конечно, подбирала каждое слово и хранила как золотой, которым бы никогда не воспользовалась, но голодать и знать, что ты богат — это уже не умереть с голоду нищим. Несомненно, если б меня и выгнал муж, нашла бы, где умереть, и никогда не обременила бы его, даже, если б это предложение оставалось в силе — ведь я прекрасно понимала, что и оно — смерть, только ещё более мучительная.

Марина долго молчит. Сидит, зябко обхватив себя руками.

Потом — резко и смешливо:

— Мальчик решил, что тётка не иначе как замуж за него собралась. Вот и бросился «не с моста в реку» от счастья, а прочь — спина, как парус... Наверняка позвонил в тот же вечер маме в Москву и услышал дельный совет — ретируйся, женщины бальзаковского возраста прекрасны, но и задушить могут, а она никуда не денется, если захочешь, видно — втюрилась, а чтобы не задавалась, возьми паузу и поддержи подольше, сынок.

Она говорила нарочито грубо, допуская слова из чужого словаря, как, вероятно, не говорила и та женщина — так легче. Но даже при этом Марина оставалась нежно-незащищённой. Переиди она на ненормативный язык, это не было бы ни пошло, ни вульгарно. Она казалась ребёнком, который, стараясь быть «как взрослые», произносит

слова, не понимая их и как-то по-своему выговаривая. Обескураженные взрослые не могут рассердиться — разве только рассмеяться или испугаться, если они умны и добры.

— Да, к вопросу «задушить». В предпоследнюю встречу — первую после возвращения из Москвы, я рассказала «весёленький» случай из моего детства, который никогда не забуду. О нём знают все мои близкие, и частенько его припоминают. Это происшествие меня очень обнажает — ведь мы всё те же, что были детьми... Хотя нет — хуже, и не только лицом и фигурой.

Мне надо бы ему сказать: «Не бойся — я сто лет знаю, что мой Ромео умер... недоношенным и от тебя раскадровки сюжета на тему вечной любви совсем не жду — пиши сценарии с автомобильными катастрофами, а не с роковыми страстями. Что же касается девочки в даме «за сорок», то прекрасно понимаю, что это не только глупо, но, что страшнее — смешно... Поэтому за роль Джульетты никогда не возьмусь».

Я заметила, что у неё поддрагивали губы. Несомненно, в лице было какое-то движение — беспокойство, как перед слезами, которые хотят сдержать. И может быть, чтобы сдержать их — слёзы обиды и памяти — она подняла руки и стала перезакалывать волосы. Они казались выгоревшими — с разномастными прядями, не очень длинные, но и не короткие, заколоты так, как делают старушки или совсем молодые женщины.

А какие у Марины глаза? Я несколько раз за ночь вспоминала, что хочу их разглядеть, но забывала об этом, едва она начинала говорить. В глазах воскресало рассказываемое — завораживающе и многоцветно.

— А случай из детства?

Она оживляется. Говорит легко. Сразу становится понятно — не впервые.

— Я поздний и единственный ребёнок со всеми вытекающими последствиями... Он ещё сказал, что поздние дети всегда красивы и это те дети, родителям которых за сорок. Моим сорока не было.

Итак, мы с папой приехали к бабушке — его маме. Она жила в Подмосковье. Отправилась на рынок, я увидела крохотных козлят и — «Хочу!» Мне шёл пятый год, цвели одуванчики — начало лета, а родилась я осенью... А вы?

— В октябре.

— Весё! Как Марина и я... Вот и качаемся, вечно перемахивая через равновесие.

Прошу козочку, хотя Гюго ещё не читала. (Усмехается.) Впрочем, в школу я пошла в пять — шести не было, так случилось, уже прочитав «Овода» вместо букваря.

Но козочка — это желание, не навеянное литературой. Страсть. Даже до слёз не дошло — купили. И вот мой козлёнок, серенькая с белым Розочка: мокрые глаза, длинные ресницы (были, помню!), тоненькие дрожащие ножки, обещанье рожек, хвостик. Бантик на шею, плед на лужайку и — все прочь! — я её буду пасти, а главное, — любить. Взрослые ушли в дом. Я — целовать Розочку. А у неё головка всё в сторону смотрит — неудобно. Я целовала-целовала, она устала, легла спать, лежит, смотрит и молчит — ни словечка на своём козьем языке. Мне стало не по себе, как-то неуютно, но пока ещё не страшно. Я — в дом. Стою у порога. Взрослые: «Что же ты Розочку оставила? Она маленькая, беззащитная. Вдруг собака съест?»

«Она спит».

«Как спит?»

Мне объясняют, что Розочка умерла, что я её зацеловала, головку не так повернула. У меня — истерика.

«Купим другую», — говорят.

«Никогда. Только её хочу, только её люблю!» А потом уснула, я всегда в горе засыпаю. Где-то прочитала — защитная реакция слабого типа нервной системы... Обычно же почти постоянно — бессонница.

Возвращается ко мне.

— И вас испугала? Людоедка, да? Где ж юному мужчине не испугаться. Да и матёрый заробел бы или хотя бы озадачился — стоит ли?

Зачем ему рассказала? Чтоб правду знал о том, что я в жизни уже натворила, и подготавлился к смерти от любви, — говорит, спрятав взгляд, не являя никаких чувств, кроме насмешливой отстранённости.

Но я видела — она всё больше устаёт, и, боясь недосказанности, возвратила её на мост, к тёмной воде:

— Неужели ушёл и не вернулся?

— Ушла я. Он остался. Но, думаю, недолго там простоял.

— Он не бросился за вами? Не окликнул?

— Нет. Даже не позвонил в номер. Я ждала всю ночь. И весь следующий день. Это была среда. Мой последний съёмочный день. Его на площадке не было. Я играла нормально, только вдруг там, где слёзы не предполагались, они накатили. Режиссёр обронил — «интересное прочтение». Просто я в тот миг внезапно поняла, что говорю его слова, им написанные в сценарии вовсе не для меня, мне случайно доставшиеся... Как и он сам.

Вернулась в гостиницу. Дежурная сказала, что кто-то звонил мне по телефону администратора и спросил по имени-отчеству. Меня мало кто величает, а он, когда звонил из официального места, то и обращался официально. Конечно, я не подумала ни о ком другом, бросилась в номер. Звоню ему. Он вроде обрадовано: «Слушаю тебя». Я: «Ты мне звонил сегодня утром?»

«Нет, сегодня утром... сегодня утром я тебе не звонил».

«Почему ты мне не звонишь?»

«Я не знаю, почему я тебе не звоню... — А на меня в эту секунду упал потолок, нет — я сама упала, с горы... — Я думал, что тебе неприятно меня слышать».

«Рада, что тебе хорошо живётся — не добавив, проглотив — “без меня”, — прости, что побеспокоила».

«Мне хорошо живётся?..»

Дальше, уже убрав трубку от уха, я только догадывалась — он что-то энергично и, может быть, возмущённо говорит, но я торопливо опустила трубку на рычаг. Разъединив нас, разорвала нить высочайшего напряжения... О, я была уверена, что он перезвонит сразу же — ведь не досказал, ведь я пришла сама, ведь ясно, как божий день, — умираю... «С ума схожу иль восхожу...»

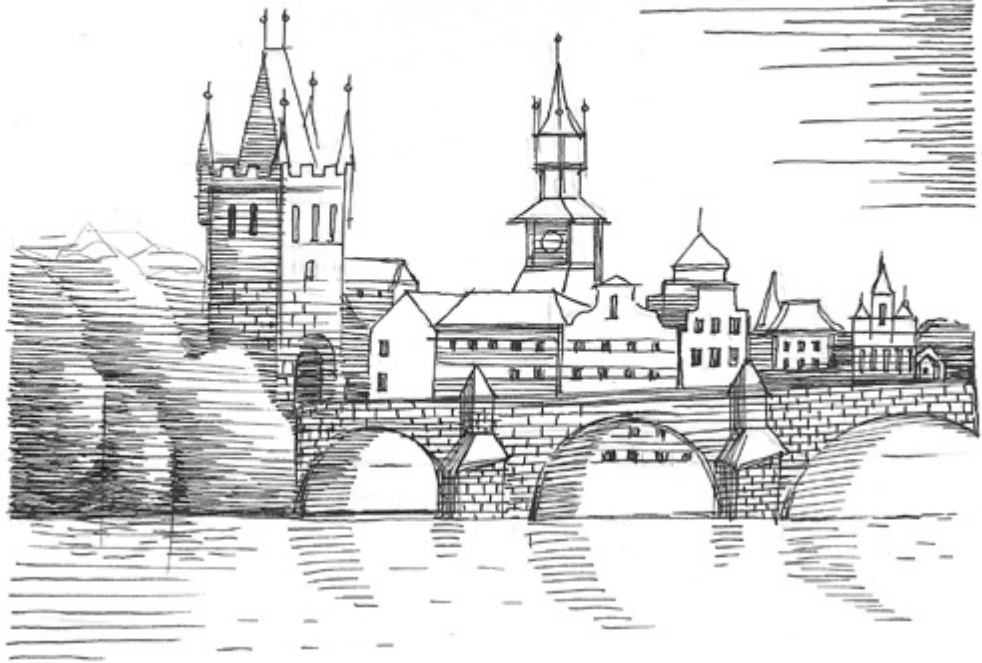
Опять усмешка отстранённости.

— Мгновенного ответного звонка не было. Наконец — звонок. Снимаю трубку без голоса — одно дыхание: я здесь и вся — ожидание. Ожидание спасения — твоих слов.

Звонила дама, которая знала о нас и к которой мы были приглашены в гости в четверг, как бы на прощальный ужин перед моим отъездом, нашим отъездом. Он заранее договорился с режиссёром — сценарий выверен, съёмки завершались — сценарист уже не нужен, как и я. В реальности уехала я, он остался.

Дама спросила, почему я не позвонила во вторник, как условились, чтобы уточнить, в котором часу мы подойдём завтра. И вообще, как мы? Отвечать было трудно. Думала только о том, что сейчас он, конечно, перезванивает, а у меня занято, вдруг решит, что я это сделала нарочно. Я сказала ей: «Мы, вероятно, уже никогда не придём вместе». Вымолвила, совсем не веря, не желая верить этим словам. Пролепетала ещё, что я, если что (а что, собственно, «если что»? Если неправда, что он меня не любит, если правда, что любит?), то я перезвоню.

Она: «Ну, ладно, расскажешь потом».



Я: «А нечего рассказывать. Всё. Очарованный мальчик — раз-оча-рован. Со мной же невыносимо».

Кстати, к этой фразе можно бы ничего и не добавлять.

Он не звонил. Ни в четверг, ни в пятницу. А я ведь научилась просыпаться по его звонку — так сладко было принимать день из его рук. День начинался его голосом.

...А потом я уехала в Москву, постояв на Карловом мосту на прощанье.

У него осталась моя книга стихов Марины Цветаевой. У меня не осталось ничего. Ни его московского адреса, ни телефона. Только, разве, возможность столкнуться в местах, где мы оба бывали. Сначала я боялась, потом — желала, или наоборот, а теперь уже спокойно думаю: интересно бы на него поглядеть сейчас, жизнь спустя. Мы ни разу не виделись...

Вновь оживляется и насмешливо продолжает:

— Бриллиантовых заколок к галстуку я ему не дарила, да ради меня он галстук так и не надел ни разу — ходил в джинсовом... Маринин томик... Жаль, что не вернул — он её не полюбил и ей у него будет плохо... Книгу дала почитать перед моим первым отъездом в Москву... Чтобы не расставаться... Попросила: «Читай внимательно — здесь всё моё». А подарить собиралась после, если пойму, что она ему нужна.

Когда вернулась из Москвы, говорили обо всём, о том, как он жил без меня, а я без него. Речь зашла о книге или, вернее, о стихах отдельно, а о Марине Цветаевой как о человеке — отдельно. Я замерла. Уже это разделение для меня болезненно, оно для меня невозможно. «Что сделала со мной жизнь? Стихи?»

«Где же там ты? Я от неё как от человека не в восторге, а стихи — да, некоторые... — и добавил что-то вроде «удались».

Он явно кивал на её «способ существования» — полёт из любви в любовь, несомненно не понимая, не потратившись на то, чтобы понять где — явь, где — сон. Вынес одно ударное ощущение: её слишком много и слишком много любви, которой ей всё мало... Я слушала и замерзала: «Марину не полюбил — меня не полюбят». А вслух сказала: «Как же ты идёшь со мной рядом?» Он только улыбнулся, поцеловал, мы остановились посреди пути, вновь замкнувшись друг на друге. Стояли на дороге, и люди нас обтекали...

Может, Марина его не выбрала — она сама выбирает тех, кому позволяет себя любить. Об этом я ему тоже говорила, но его мужское начало упорствовало: мужчина в нём не соглашался быть выбранным женщиной, даже поэтом, ему подавай только его выбор и его победу... Видимо, не знает ещё, как сладко и больно, как больно и сладко быть побеждённым...

Он запальчиво рассуждал о самоубийстве Марины. Считал себя верующим и сознательно принял католицизм. Если честно, я подумала, что этот выбор — не без желания быть оригинальным, но слушала его рассказ очень бережно и спрашивала без тени иронии.

«Как она могла? Как могла? Для меня самое страшное — умереть без покаяния».

Я так отчётливо запомнила эти слова. Как-то тихо, даже робко сделала попытку не защитить — Марина Цветаева не нуждается, теперь не нуждается — а просто помочь ему понять. Он многого не знал даже из того, что знала я — материалов допросов Сергея Эфрона, версию о разговоре с Мариной, там, в Елабуге, «чёрных человек», дневников и писем сына... Да всё это не главное, главное — судьбы не стало жить! Как этого не понять? Но он мужчина: эмоции — отдельно, поступки — отдельно, будто можно одно от другого отвязать... У меня почему-то не было желания ринуться в бой.

Он что-то сказал про измену в Берлине ещё до встречи с мужем после жуткой разлуки. Я остановилась опять-таки посреди дороги и попыталась прочесть «Пригвождена к позорному столбу», чтобы объяснить ему её же словами, её душой, но даже прочесть не смогла...

(Мне подумалось: «Она не смогла прочесть!»)

— ...не смогла прочесть уверенно, с жаром, с гордостью и обнажённостью, как написано — сбилась. Он смотрел, слушал, улыбался. Я сказала только: «Как жаль — значит, ты не сможешь влюбиться до смерти...» Но, наверное, уже тогда поняла — что-то не так... Хотя совсем не считаю, что он обязан был любить всё, что люблю я... А я уже любила всё его, мне было это нетрудно...

— Может, ещё позвонит — книгу вернуть?

Она усмехается:

— Разве что... Давайте спать?..

— Давайте. Спасибо.

Улыбается:

— И вам спасибо.

Мы уже лежим, но каждая знает, что другая не спит. Свет — только от окна, синий ночник не включили.

— Вы ведь не поверите — мы с ним так и не были близки, физически близки, не говоря уж о духовной близости. Раз он не смог, не захотел меня любить, значит, духовной близости не было и в помине. Если она есть, люди просто не могут потерять друг друга, эта связь навсегда, она из космоса, суть — неба...

— Но ведь он вас любил, по-своему...

Она даже словом не отмахивается, не удостаивает и продолжает:

— ...А физическая близость была желанна. Ни он, ни я этого не скрывали. Да разве скроешь? «Легче лисёнка скрыть под одеждой»... Но почему, как это говорят, не спали, если хотели? А ещё — богема! Гостиница, близкие далеко. Наверное, потому что очень приятно длить начало — мучиться этой сладкой мукой, ничего не хотелось торопить... А может — не время и не место, хотя лучше Праги места сыскать трудно. Или это место было не нашим? Скорее всего — я трусила, немного всё-таки робела при всей уверенности в нём и собственной самоуверенности. Грустила, что не достанусь ему той, прежней, что «лучше, кажется, была». Не кажется — была. Всё повторяла ему: «Скажи своей маме, что ты для меня — гораздо большая опасность, чем я для тебя. Я тебя бо-юсь»...

Так похоже на сон. «Вся моя жизнь — сон о жизни, а не жизнь!..»

Он смеялся:

«Ты будешь моей. Ты — моя женщина. Ты не должна меня стесняться — а ты умеешь стесняться? — ты — моя — женщина!»

«А ты?»

«Я твой!..»

Обычные диалоги влюблённых.

Я знала, конечно, что это случится, хотела этого, отдавая. Думала о нём, о том, как было в его ласке, о том, как будет... Но всегда — о прелюдии, а не об основной части... Представляла, как свешивается со спинки кресла моё платье... Где? В его номере? В моём? Кстати, в его номере я ни разу не побывала...

Но ещё я знала, что вместе с близостью приходит конец. «Костёр всегда догорает». Конец любви или конец жизни, но неизбежно — конец. Начало всегда требует конца. Не объедешь... К тому же мой вариант без вариантов — не могу длить параллели.

Вероятно — это и было главным, из-за чего близости не случилось. Только сейчас поняла — не хотела конца, хотела, чтобы мы подольше (только подольше, милый!) не расставались.

Он не то чтобы очень настаивал, но просьба звучала. Были ситуации непереносимой накалённости. Тушила я, сама обгорая:

«Хочешь поставить точку? Считаю, что уже случилось — ты ведь знаешь, что я этого хочу. Было — не было — всё равно, ведь и возжелать — грех».

«Я никого на свете не хочу, кроме тебя».

«Мне кажется, что я ни с кем так не целовалась. Может, это перед смертью? А ты не боишься, что ты возьмёшь меня, а я умру?»

«От этого ещё никто не умирал».

«А я умру. И от этого. И без этого...»

Близость — вершина отношений, если они есть. А мне же нужно дальше! Дальше — что? На небо или вниз... Мне всегда нестерпимо терять высоту. Значит — разлука или, по-другому, — смерть.

«Ненасытим мой голод / На грусть, на страсть, на смерть», — произносит она серьёзно. Делает паузу и почти весело: «Я жду того, кто первый / Поймёт меня, как надо — / И выстрелит в упор».

Я говорила ему:

«Для меня близость совсем не то, что для тебя. Для меня всё иначе».

«Я понимаю».

Что он понимал? Что это «иначе» — обычное дело между женщиной и женщиной?

Мне, чтобы войти в близость, надо умереть для прежней жизни, родиться для новой, чтобы опять умереть... Пережить конец ради начала, у которого неминуемо будет конец. И получается — концов больше, чем начал. Невнятица? Не вникайте.

Я понимаю, что многие — и мужчины, и женщины — становятся близки без отношений, то есть без чувства, кроме желания, которое тоже чувство... Блуждаю. Язык уже заплетается...

Не сужу, даже понимаю, но это не для меня.

Он рассказал, что у него было достаточно женщин, кстати, и из маминых приятельниц тоже, а в любви он объяснялся только дважды. Не мой вариант — вполне его вариант и, чтобы разрядить напряжённость, которая не могла не возникнуть в таком разговоре, слихачила: «Но, кто знает, в жизни бывает всё, может, и я чему-то обучусь... к старости».

Пауза затянулась. Я ждала, прислушиваясь к дыханию Марины. Вдруг вот так рассказ и замрёт — моя визави просто уснёт. Но она заговорила вновь:

— А встреч было только семь. Я считала, он — нет. И не было близости. И я никогда не надела те платья, в которых загадывала быть с ним в тот день или ту ночь, когда мы не смогли бы расстаться.

Кстати, мы вместе купили, там, в Праге, два вечерних платья, оба чёрные, строгие. Одно длинное, другое маленькое, длинное — с обнажённой спиной, а короткое — с белым воротником и манжетами, такой гимназический наив. Искушённому купить в Праге что-то из одежды, на мой взгляд, трудно. Мне показалось, что там вообще люди одеваются даже не скромно, а как-то скучно. Не Париж. Может, не этим живут? А мои платья — случайность. Гуляя, мы забрели на улицу Парижскую, или Французскую — улицу маленьких дорогих магазинчиков, в которых я тоже ничего не находила. Платья отыскал он и предложил примерить.

...Я то придумывала, как он пытается найти пуговичку под белым воротником, а я — перед ним тихая, послушная, робкая, руки брошены вдоль тела; то представляла, как стою к нему спиной, он расстёгивает молнию, и с плеч падают узкие бретели платья, оно соскальзывает к ногам. Я — в чёрной шёлковой луже, он не решается ни переступить через неё, ни меня из неё извлечь...

Голос уже смётся, кажется почти счастливым, как будто она вспоминает действительно прожитое. Видимо, Марина могла быть счастлива и от небывшего. Это было, было — ведь так ясно, что живёт она реальнее реального в своих выдумках, в своих грёзах, снах наяву вместо снов для сна.

— Знаете, я заметила — всё, что я придумывала, то есть проживала мысленно, заранее что-то представляя, наяву уже не происходило. Сгла... Как это будет от глагола «сглазить» в прошедшем времени? Или так реален был вымысел, так рельефен, в цвете, запахе, дыхании, что реальность отступала, не случалась. Вот и этого не случилось...

Наше расставание — уход друг от друга навсегда — я не представляла, думать об этом не желала... а случилось... По не задуманному. Даже последнего поцелуя не помню — не было его последнего — прощального... А вот последний — долгий до обмирания — перед моим первым отъездом в Москву, помню. На улице. Машины гудели. Люди смотрели. Водители из окон машин выглядывали, сигналили. Дети кричали, бегали, сужая круги вокруг нас, а потом один смелый или любопытный подошёл совсем близко и спросил так, что было совершенно понятно даже на чешском: «Любовь?» Не отнимая своих губ от моих, он ответил громко: «Угу!»

...И платья эти не ношу — не могу.

Марина замолкает надолго. И, когда я подумала, что теперь уже всё, что больше уже ничего не вспомнит вслух — всё рассказала, что хотела, она заговорила каким-то утренним голосом, голосом бессонницы:

— Когда поняла, наконец-то, что это всё, меня бросили, мы рас-ста-лись, разошлись, разбежались, разлетелись, что это — конец, что больше я не услышу его: «Я так тебя люблю!» и уже никогда не будет этих длинных волшебных поцелуев, после которых открывала глаза и не понимала, где я и что вообще это — я... Эх, если б так можно было поцеловаться на экране! В зале бы у всех был инфаркт... от желания... И фильма не надо. Весь сюжет — в поцелуе...

Одним словом, было очень трудно жить. Всё потускнело, потеряло смысл... даже платья — зачем?! Тут-то и подступило: всё, пора стареть. Если бы не моя работа — моё кровопускание... Или уж совсем честно — я не верила, что *так* бросают. Много было схожего с моим единственным опытом — я узнавала себя, — но и не было похоже просто ни на что!

«Вчера ещё в глаза глядел / А нынче...» — она, вероятно, досказала лицом, которого я не видела.

— Последний поцелуй... Финал уложился в один день — признания, поцелуи, побывали на выставке, зашли в тот «наш» бар, а потом — моё безумие. Столкнула лавину, она начала движение — не остановить. Он убежал, спасаясь. Я осталась... осталась со своей лавиной один на один.

И сейчас чего-то всё-таки не понимаю. За то, что не развлекаюсь, а люблю — бросить? Неправильно люблю, нестерпимо. И конечно, конечно, — эгоистично: я же из дома уходить не собиралась, а ему — чтоб вчера не было и о завтра без меня не думай! Каково?!

Ну не подумал бы, пока со мной был... Так же ведь всё просто... — говорила она с горькой досадой не то женщины, не то ребёнка, с которым играют не по правилам, но ему они важнее жизни.

А в реальности, видимо, наоборот! Она играет не по правилам, ибо такая любовь — всегда вне правил, ему же комфортнее в привычных рамках.

— ...Я поклялась тогда: никогда ни к кому больше навстречу не шагну, никому на плечи руки не положу, никогда никто не услышит моего стога, целуя меня, никогда не позволю своим губам обжечься словами «я не могу без тебя», не позволю сердцу запылать от слов любви, поверив до такой степени, чтобы принять их всерьёз и ответить какой бы то ни было взаимностью. Никогда... никогда я не буду больше грешной... Как говорит моя подруга: «Тебе бы всё в глаза глядеть, а надо уж и о душе подумать». Вот и буду думать о душе и смотреть в глаза близких — у меня ведь всё есть. У меня всё есть.

Последние слова она произнесла как-то особенно, будто сама с собой проводя сеанс гипноза, давая установку: «Я счастлива. Я счастлива».

Вот такой счастливой она и попыталась уснуть, а я попыталась поверить, что она счастлива.

За окном сереет. Может — это перламутр осени: у неё не только рябиновые бусы, но и перламутровые браслеты есть, которые она снимает... по утрам.

Мы не спим. Я слышу дыхание Марины — тихое, невесомое, сдерживаемые вздохи — полна душа, осторожное ворочанье, чтобы не разбудить... Где-то уже под Петербургом мы обе засыпаем и просыпаемся, вздремнув минуточку, от голоса проводницы:

«Подъезжаем, товарищи, белъё, пожалуйста». Всё ещё товарищи. Господами рождаются. Резко врывается действительность утра, реальность такого непохожего на Москву города...

— Я не люблю умываться в поезде.

— Я тоже.

Она достаёт косметичку, протирает лицо лосьоном, наносит крем, чуть трогает ресницы кисточкой, быстро расчёсывается и смотрит в зеркало, как смотрит каждая женщина и как смотрит только актриса — с интересом узнавания и незнания: кто-то там сегодня?

— Я, как всегда, прекрасна.

— Подтверждаю.

Мы уже одеты. Обе даже зубы чистить не пошли — вода холодная. Приведу себя в порядок у давней подружки, у которой почти всегда останавливаюсь — она живёт одиноко и радуется моим приездам. Звонила ей из Москвы, она ждёт — на работу чуть опоздает. Для Марины же, наверняка, снят номер в гостинице. Интересно, в какой?

Она набрасывает шарф, как вчера, но не завязывает на узел. Сидит на моём месте, там, где я всю ночь просидела, слушая её. Мы те же, что и ночью, и другие — ведь утро. Наверно, мы похожи на людей, между которыми случилась близость одной ночи, утро разведёт — это реальность и неизбежность, заслоняющая нереальность и невозвратность происшедшего.

Пожалуй, никто из нас не жалеет ни о том, что произошло, ни о том, что надо расставаться. Может, чуть неловкости от доверенной и принятой исповеди и чуть грусти, как в каждой разлуке.

Марина кладёт на колени руки, ладонями вниз, поезд останавливается — перрон. По коридору, мимо распахнутой двери проходят немногие наши попутчики. Каждый заглядывает к нам — поглазеть на неё, а потом похвалиться: «Знаешь, я с Мариной Д. в Питер ехал. Почти в одном купе. Ничего, стильная».

— Вот и всё. Утро, — опускает глаза к рукам, на которые через миг обопрётся — оттолкнётся и начнёт жить в этом новорождённом дне. Говорит тихо, будто только себе, себя по-особенному слышащей:

— Как сладко и как больно жить.

«Как сладко и как больно жить» — этой фразой она попрощалась, и я очень хорошо запомнила, что слово «сладко» стояло первым.

Мы выходим из вагона вместе. Её кто-то встречал. Она была слегка бледна, круги бессонницы лежали под глазами, как тени на весенних сугробах, но, в общем, выглядела свежо и встречавшим, наверняка, показалась оживлённой.

Я сказала: «До свидания!» Она смотрела спокойно на меня, уходящую, как на человека, который с её позволения уносит часть багажа, и в то же время — чуть рассеянно и удивлённо, будто не понимая, что же всё-таки происходит.

Губами ответила: «Счастливо».

Глазами попросила: «Сохрани».

Поднятыми плечами, поднятым воротником, руками, упрятанными в карманы, сумкой на плече — всем видом деловитой надёжности я отвечала: «Не волнуйся. Сберегу».

Я шла на свидание с Ленинградом. С городом, очень важным в моей судьбе — именно здесь в первый и единственный раз почувствовала, что хочу стать женой мальчика, который рядом со мной теперь уже почти двадцать три года.

Примерно столько же лет замужем и Марина... Всё, о чём бы я ни думала, всё, на что бы ни глядела в эти дни, меня возвращало к ней, в её жизнь. Первый день своей командировки я начала, шепча её слова: «Как сладко, как сладко, как сладко... жить».

А в моём Ленинграде, конечно, шёл дождь. Он шёл мне навстречу...

Год промелькнул. Почти год. Был конец августа. Флоксы доцветали. Летние яблоки уже собирали, а антоновку — ещё нет. Первые листья, сожжённые жарким летом, а не осенним фатальным увяданием, летели под ноги.

Как и обещала, я нигде и никак об «эксклюзивном интервью» не обмолвилась, хранила его тщательно записанным в памяти. Это была память, волнующая и драгоценная. Видеться не случалось. Только, когда на экране телевизора появлялось её грустное, умное и красивое лицо, что для женщины почти чудо (так считают мужчины), или по радио звучал голос, перепутать который с другим невозможно, голос тревожный, со множеством оттенков интонаций — пауз, замираний, взлётов — собственно её дыхания, домашние кричали мне на кухню или в маленькую комнату, куда я забивалась с диктофоном и ручкой:

— Твоя Марина!

И, всё бросив, я летела ураганом навстречу...

В один из дней отступающего лета, когда многие уже вернулись из отпусков, но ещё не успели рассказать друг другу, что, где и как, я пила кофе в нашей редакционной столовке, ставшей кафе-баром. С кем-то постоянно здоровалась, кому-то кивала, оборачивалась на прикосновения чьих-то рук к моим плечам, слушала рассеянно, думала одновременно о завтрашней и вчерашней полосах и ещё о чём-то, что тревожит всегда в конце августа перед любимым с детства первым сентябром. В эту круговерть кто-то обронил: «Да, ты слышала, Марина Д. погибла».

Я не помню, я совсем не помню, кто принёс эту весть. Не помню — мужской или женский голос это сказал...

Вдруг стало совсем тихо — ни гула голосов, ни смеха, ни звяканья посуды, ни хлопанья дверей. Вспыхнуло и погасло её лицо, и одновременно очень ясно я увидела лицо мальчика с высокой галёрки, лицо сына над её плечами, как год назад в ночном экспрессе.

Вернувшись в отдел, спросила, не называя имени:

— Как это случилось? Когда? Где?

— Вроде где-то в ближнем зарубежье, в Латвии, кажется. На съёмках. Вчера в сумерках откуда-то возвращалась в гостиницу в машине с каким-то молодым — не то режиссёром, не то оператором. Лил дождь, на участке с ремонтными работами объезжали ограждение, оказались на встречной полосе. Короче — тяжёлый рефрижератор врезался. Она сидела рядом с водителем. Насмерть, сразу. Говорят, белые цветы, что держала в руках, да так и не выпустила, стали... не белыми. А парень — ещё в реанимации, в сознание не приходит, только несколько раз позвал её по имени...

Я вышла на улицу. Как выбрала путь — не знаю, очутилась на одном из запущенных, с облупившимися ступенями горбатым мосту через Язу. Он был сонным, казался архаизмом моста — никто на нём не целовался, не прощался и вообще не проходил. Стала смотреть на воду — она была «не синяя, не зелёная — кофейная» — мне не нравилась. Но я смотрела, не отрываясь, потому что оттуда, из этой лениво движущейся, кажущейся вязкой, темноты на меня глядело лицо Марины, покачиваясь, как в поезде.

О чём я думала? Что вспоминала? Не знаю. Ничего не помню из тех моих мыслей, помню только, что было больно, тихо и пусто. И ещё — в висках стучала та самая последняя фраза, сказанная в так много слышавшем купе: «Как больно и как сладко жить».

«Как больно» — на первом месте.

Я стояла на мосту и твердила: «Как больно, как больно, как больно жить...», а перед глазами через красные лужи прыгали летние яблоки...

Позже, прочитав некролог, как всегда, опоздавший, узнала, что спутником Марины Д. был молодой автор сценария фильма, на съёмки которого они приехали. Сценарий был написан специально для неё. Возвращались они с моря — искали место для съёмок, по дороге в каком-то местечке купили яблоки и охапку белых цветов — ромашек или уже хризантем.

И я подумала: он, наверно, её любил.

И я подумала: она, конечно, его любила.

И может быть, в утро последнего дня она сказала: «Как сладко и как больно жить...»

Хоронили Марину тихо и почти буднично, без суеты и без слов. Никто не говорил друг с другом, каждый был будто сам по себе, даже муж и сын.

Только возвращаясь, уже за кладбищенскими воротами, я услышала, как кто-то сказал, что муж положил ей в гроб те белые цветы — последние ромашки лета, которые перестали быть белыми.

Мне ль, которой ничего не надо,
Кроме жаркого чужого взгляда,
Да янтарной кисти винограда, —
Мне ль, заласканной до тла и всласть,
Жаловаться на тебя, о страсть!

Всё же в час, как леденеет твердь
Я мечтаю о тебе, о смерть,
О твоей прохладной благодати —
Как мечтает о своей кровати
Человек, уставший от объятий.

Марина Цветаева написала эти стихи 1 января 1917 года. Актриса погибла в конце августа 1994.

1994–2019

